

И. Бабель

ВЕЧЕР

"Новая жизнь", май 1918

Я не стану делать выводов. Мне не до них.

Рассказ будет прост.

Я шел по Офицерской улице. Это было 14 мая, в 10 часов вечера. У ворот одного из домов я услышал крик. В подворотню заглядывали людишки - лавочник, проходивший мимо, внимательный мальчишка-приказчик, барышня с нотами, щекастая горничная, распаленная весной.

В глубине двора, у сарая, стоял человек в черном пиджаке. Сказать о нем человек - значит сказать много. Он был узкогруд и тонок, паренек лет семнадцати. Вокруг него бегали раскормленные плотные люди в новых скрипящих сапогах и вопили тягучие слова. Один из бегущих с недоумением, наотмашь ударил паренька кулаком по лицу. Тот, склонив голову, молчал.

Из окна второго этажа торчала рука, сжимавшая револьвер, и летел быстрый хриплый голос:

– Будь уверен, жить не будешь... Товарищи, израсходую я его... Не можешь ты у меня жить...

Паренек, понурясь, стоял против окна и смотрел на говорившего со вниманием и тоскою. А тот, расширив до предела узкие щели мутных голубых глаз, загорался злобой от нелепого и горячего своего крика. Паренек стоял, не шевелясь. В окне блеснуло пламя. Звук выстрела прозвучал подобно мощной бархатной ноте, взятой баритоном.

Покачиваясь, парень отошел в сторону и прошептал:

– Что же вы, товарищи... Господи...

Я видел потом, как его били на лестнице. Мне пояснили; бьют комиссары. В доме помещается "район". Мальчишка - арестованный, пытался улизнуть.

У ворот все еще стояли щекастая горничная и заинтересованный лавочник. Избитый, посеревший арестант кинулся к выходу. Завидя бегущего, лавочник с неожиданным оживлением захлопнул калитку - подпер ее плечом и выпучил глаза. Арестант прижался к калитке. Здесь солдат ударил его прикладом по голове. Прозвучал скучный заглушенный хрип:

– Убили...

Я шел по улице, сердце побаливало, отчаяние владело мной.

Избивавшие были рабочими. Никому из них не было более тридцати лет. Они поволокли мальчишку в участок. Я проскользнул вслед за ними. По коридорам крались широкоплечие багровые люди. На деревянной скамейке, сжатый стражей, сидел пленник. Лицо у него было окровавленное, незначительное, обреченное. Комиссары сделались деловитыми, напряженными, неторопливыми. Один из них подошел ко мне и спросил, глядя на меня в упор:

– Что надо? Убирайся вон!

Все двери захлопнулись. Участок отгородился от мира. Наступила тишина. За дверью отдаленно звучал шум сдержанной суеты. Ко мне приблизился седенький сторож:

– Уйди, товарищ, не ищи греха. Его уж прикончат, вишь - заперлись. – Потом сторож добавил: – Убить его, собаку, мало, не бегай в другой раз.

В двух шагах ходьбы от участка мне бросился в глаза освещенный ряд окон кафе. Оттуда доносилась солдатская музыка. Мне было грустно. Я пошел. Вид зала поразил

меня. Его заливал необычный свет мощных электрических ламп - свет яркий, белый, ослепительный. У меня зарябило в глазах от красок.

Мундиры синие, красные, белые - образовывали цветную радостную ткань. Под сияющими лампами сверкало золото эполет, пуговиц, кокард, белокурые молодые головы, черный блеск крепко вычищенных сапог светился недвижимо и точно. Все столики были заняты германскими солдатами. Они курили длинные черные сигареты, задумчиво и весело следили за синими кольцами дыма, пили много кофе с молоком. Их угощал растроганный рыхлый старый немец, он все время заказывал музыкантам вальсы Штрауса и "Песню без слов" Мендельсона.

Крепкие плечи солдат двигались в такт с музыкой, светлые глаза их блистали лукаво и уверенно. Они охорашивались друг перед другом и все смотрели в зеркало. И сигары, и мундиры с золотым шитьем совсем недавно были присланы им из Германии. Среди немцев, глотающих кофе, были всякие: скрытные и разговорчивые, красивые и корявые, хохочущие и молчаливые, но на всех лежала печать юности, мысли и улыбки - спокойной и уверенной.

Наш северный притихший Рим был величественен и грустен и эту ночь. Впервые, в нынешнем году не были зажжены огни. Начались белые ночи.

Гранитные улицы стояли в молочном тумане призрачной ночи и были пустынные. Темные фигуры женщин смутно чернелись у высоких свободных перекрестков. Могучий Исаакий высказывал единую непроходящую, легкую, каменную мысль. В синем сумрачном сиянии видно было, сколь чист гранитный и мелкий узор мостовой. Нева, заключенная в недвижимые берега, холодно ласкала мерцание огней в темной и гладкой своей воде.

Молчали мосты, дворцы и памятники, спутанные красными лентами и изъязвленные лестницами, приготовленными для разрушения. Людей не было. Шумы умерли. Из редющей тьмы стремительно наплывало яростное пламя автомобиля и исчезало бесследно.

Вокруг золотистых шпилей вилось бесплотное покрывало ночи. Безмолвие пустоты таило мысль - легчайшую и беспощадную.